

Борис Ямпольский

957

P30783



ЧУЖЕЗЕМЕЦ

Г



БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ

ЧУЖЕЗЕМЕЦ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА — 1942

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Однажды ночью в местечке на одном из притоков Днепра, где провел я раннее детство, по-иноземному заиграли барабаны, и появились немцы в железных касках, в башмаках на железном ходу, обвешанные железом. На улицах стоял такой шум, будто шли железные солдаты.

Дом нашего хозяина был самым представительным на Привокзальной улице, и над ним кукарекал петух, вырезанный из белой жести.

Подразделение немецких солдат, во главе с обер-лейтенантом, подошло к дому. Каски светились в лунном свете.

Бил барабан. Обер с невероятно длинными усами, на которых он, казалось, летел, поднялся на крыльцо, скомандовал «фрай» и пошел спать.

Солдаты бросились по дворам. В ночной тишине раздались крики, звон стекла, мычанье, хрюканье, кудахтанье кур и отчаянные крики индюков.

Вскоре на улице показалось несколько солдат. Размахивая сверкающими палашами, они гнались за гусаком. Красный от крови, гусак бежал посередине лунной улицы и трубил в ночи о своей смерти.

Огромный солдат, похожий на колбасу рыжего мяса, ходил по нашему двору с корзиночкой, как у Красной шапочки, и прямо из-под кур собирал в нее яйца. Другой солдат в темноте хлева сидел на корточках и доил корову, точно ведьма, — я даже заглянул в ведро. не почернело ли молоко.

Потом солдаты развели на дворе костер и ели, и хвалили украинское сало, яйца и молоко. Накрыли стол у раскры-

того в сад окна и приготовили яичницу из десяти яиц оберу, по фамилии Шверц, Керц или Зерц. Обер уже успел соснуть. Он выглянул, розовый от сна, и спросил: «Вифил ур?» (Который час?), расправил длинные усы и сожрал яичницу.

Снова заиграл барабан. Патрули оцепили окраину, и солдаты шли из двора во двор, по всей улице, и саблями подгоняли коров и свиней. Последним шел огромный солдат, похожий на колонну рыжего мяса. Он длинной хворостиной выгонял из дворов гусей, индюков и кур; цыплята бросались за курами, но он их отгонял; бабы бежали за ним, и он стегал их хворостиной.

На всей нашей улице остался только один петух, который, забравшись на крышу, кричал оттуда: «Караул!»

Огромное стадо, заполнив широкую Привокзальную улицу, погоняемое немецкими проклятьями, двигалось к вокзалу. Пыль и стон, казалось, заполнили небо и землю. На станционных путях ожидали красные вагоны. Весь скот и

птица были тут же погружены и увезены. Женщины и дети стояли у вокзальной ограды. Они кричали и плакали, как по мертвым. А обер с длинными усами показывая толпе кулак, грозил, что от Украины он оставит только небо и землю.

Но однажды на рассвете мы были разбужены колокольным звоном. Гудели церкви во всех окружающих наше местечко девяти селах. Это гудели колокола народного восстания.

Окно в комнате, где жил обер, было широко раскрыто. Я заглянул туда. Видно было, что кровать опустела недавно. На полу живописно валялись штаны обера, краги и ремни, и мне показалось, что он прямо с кровати вылетел в окно на своих длинных усах.

Восставшими был захвачен весь немецкий гарнизон. Вооруженные саблями, вилами, цепями и топорами партизаны вели немцев к вокзалу. Немцы шли бо

сиком и без касок. В них нельзя было узнать железных солдат. А наш обер, по фамилии Шверц, Керц или Зерц, шел без штанов, но в мундире с серебряными пуговицами. Кроме неба и земли, которые он грозился оставить от Украины, были еще вокруг него крестьяне с вилами, цепями и топорами, и они гнали обера и его войско так же, как недавно немцы гнали по этой же улице стадо животных. Женщины выбегали из ворот, плевали в лицо обера и кричали:

— Швайн! Швайн!

А мальчики догоняли его и спрашивали:

— Вифил ур? (Который час?)

Мы были тогда детьми. На Курсовом поле, где шли сражения за нашу узловую станцию, откуда, как лучи, расходились три важнейшие южные дороги, мы собирали патроны и неразорвавшиеся гранаты и за пазухой относили их в лес к партизанам.

Мы -- дети гражданской войны, и не в первый раз нам слышать канонаду. Мы

видели войну на улицах наших городов, в наших дворах и огородах.

Мы видели и немцев, одетых в железо, и хвастливых интервентов на белых конях, скачущих будто не на войну, а на балетное выступление, и обезумевших бандитов, немецких холуев с желто-блакитными хвостами на папахах, га-лопирующих по разрушенным городам и селам, — и мы видели, как бежали они все от наших отцов и старших братьев, которые рубили их без всякой пощады. И на нашем Курсовом поле кружилось тогда немало всадников без головы.

Дети гражданской войны, дети окраин, собиравшие патроны на полях сражений, ныне — бойцы Красной Армии. Многие стали генералами, капитанами кораблей.

Это наше поколение, поколение революции ведет сейчас танки на фашистские орды, бомбит фашистские укрепления, идет в штыки на врага.

Мы всем обязаны родине, и мы отдадим за нее всю нашу кровь, каплю за каплей.

Родина вскормила нас молоком свободы, и мы привыкли ощущать себя орлами. Мы, вольные сыны свободы, не пойдём под кнут никогда!

23 июня 1941 г.

1918!

Это было в июле, двадцать три года назад, во время немецкой оккупации на Украине.

«Смерть катам!» — появлялось по ночам на заборах, на стенах домов, на телеграфных столбах, на вагонах поездов. Немцы утром сдирали эти слова саблями, но они снова появлялись: «Смерть катам!» Не было краски — кровью писали: «Смерть катам!»

Куда бы немец ни шел, мосты были разобраны, дороги разворочены, леса горели, в оврагах немцев поджидали засады, в селах их встречали баррикады, а в лугах кони их насккивали на шнуровочные заграждения. Дети рвали провода, бабы с вилами нападали на обозы,

Они остались одни в украинской степи, между небом и землей, чужеземцы в железных касках и железных башмаках.

Они пить хотели — колодцы были засыпаны. Голод их мучил — но на баштанах и огородах их ждали капканы, как волков.

У нас в городке, когда немец приближался, в кузне потухал огонь, в пекарне месили глину, в маслобойке толкли воду, а у мясной лавки кто-то повесилдохлую кошку. И кузнец был не кузнец, — немец ставил подковать коня, а кузнец спрашивал: «Пуговицу пришить?» Все оглохли.

А цырюльник держал бритву так, что, взглянув ему в глаза, немецкий офицер не доверял ему не только шею, но и макушки, сам садился перед зеркалом, а цырюльник только подавал ему кисточку, и часовой стоял и смотрел, чтобы кисточка не превратилась в кинжал.

Пожарный с каланчи, звонарь с церковной колокольни подавали какие-то знаки лесам и лугам; колотушка ночного

сторожа, в поле рог пастуха, на ярмарке песня слепого бандуриста — все было полно смысла и тайного значения.

Загудят колокола — и вдруг ярмарка превращается в вооруженный лагерь. Из телег вставали пулеметы, из корзинок с орехами появлялись обрезы, и немцев угощали орехами, которые и чертям не по зубам. Мирный обоз в степи с хрюкающими в мешках поросятами, с блеющими ягнятами, с кудахтающими в клетках курами вдруг преобразался в партизанский отряд.

Дороги гражданской войны. Все было не тем, чем казалось, все скрывало огонь и пули.

Немцам не было пощады. Их рубили, где только настигали. Их топили в реках, бросали в колодцы, душили, кололи.

Ночь. Улица в лунном свете похожа на реку, протекающую через город. Прошли два немецких офицера, как гусаки, прусским шагом, — их сразило одной пулей, следы башмаков до утра лежали

на дороге. Стреляли чердачные окна, погреба, сараи, ветряные мельницы, снопы на полях, кресты на кладбищах, деревья в лесах, будто сам воздух был заряжен пулями.

Ночью загорались подземные керосиновые склады. И немцы плясали, как черти в огненной картине ада. Они выкатывали из-под земли тяжелые бочки и взрывались вместе с ними, на землю падали их тяжелые каски. Земля качалась, как во время землетрясения, в небо летели пороховые погреба.

Помню я ночь, когда в свете луны все казалось иным. Народ говорит, что в ночь на Ивана Купала деревья сдвигаются с мест и беседуют друг с другом, из рек выплывают русалки и качаются на ветвях верб.

Я шел через степь из одного местечка в другое. Дальние луга в лунном свете разлились, как озера, над ними ползли тучи, и казалось, что всадники выплывают из синей травы.

Где-то совсем близко, как проклятье, раздалась немецкая команда.

В степи все ожило: зашевелились стога и застучали пулеметы. Немцы кинулись в лес, на них посыпались камни, будто камни росли на деревьях. Немцы — к реке, а из реки с звонким ржанием выбежали кони, словно были они в гостях у водяного царя. Немцы — в осоку, а из осоки штыки. Немцы — в кустарники, кустарники двинулись на них, от каждого куста отделился человек с топором, и уже бежали со всех четырех сторон мужики с косами, вилами, цепами. Не жито косить, не рожь молотить — немца косить, немца молотить.

Метались немцы от села к селу; только они приближались, гудели колокола, и навстречу бежали мужики с топорами и бабы с вилами. И в степи слышны были удары цепов о каски и немецкие крики.

Солнце еще не взошло, но птицы на деревьях уже видели его.

Вся степь была покрыта касками. Каски, каски, каски по всем деревьям, на огородных чучелах, на заборах, на плетнях — как битые горшки, исколотые, изрешеченные пулями, смятые.

И много лет спустя, долго еще, украинский крестьянин плугом выворачивал каску, и мальчики со дна реки вытаскивали каску, землекопы рыли землю и вдруг слышали звон — каска! Так в украинской земле была схоронена немецкая армия.

Прошло двадцать три года, и снова чужеземцы в железных касках и железных башмаках захотели снять наш золотой урожай. Но мы встретили их не зилами и топорами, а пушками и танками.

В тылу фашистских войск снова оживают снопы на полях, камыш на берегах рек. Каждое дерево в лесу, каждый куст по краям дорог, каждое окно в городах, каждый крест на кладбище начинают стрелять. Где появляется немецкая каска — навстречу ей летит пуля, где

показывается немецкий башмак — под ним начинает гореть земля.

В лицо немцам ударит огонь с фронта, в спину — огонь с тыла, и окажутся разбойники в огненном кольце, и станет им чужая земля могилой.

4 июля 1941 г.

ЗЕЛЕНАЯ ШИНЕЛЬ

1

На-днях я пришел из Украины, из края, где родился и вырос. В селянской свитке, босиком (немец снял с меня сапоги, сказав, что они ему нужнее) прошел я около тысячи километров, через всю Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и южную часть Курской области.

Сорок пять суток шел я по земле, захваченной немцем, сорок пять дней и ночей шел я, точно по кладбищу.

Как черные тени, забытые народом памятники, стоят хутора и села. Редко пробежит человек по улице, — в любую

минуту может выскочить немец в зеленой шинели, сорвет картуз; если бритый ты — «русс солдат», но если на твоей голове волосы — «русс комиссар», и уже не видеть тебе дома твоего, детей твоих. Не брехнет собака — немцы постреляли по деревням собак, чтобы не пугали по ночам. Не кукарекнет петух — немец сожрал и жареного, и пареного, и вареного.

За все это время ни разу не слышал я песни. И это на Украине, где всегда, то ли на рассвете, в сумерках или глубокой ночью, близко, далеко ли, то ли за рекой, то ли за горой, — всегда звенит песня так, что в детстве казалось мне — сам воздух на Украине поет.

Только однажды, на рассвете, в тумане шел я балкой за селом Таранівка на Харьковщине, и слышу — поют. Прислушался, нет, как будто лают собаки на селе. Но вдруг собаки ясно пролаяли: «Дойчланд юбер алле вельт!» (Германия над всем светом). Из тумана на горе появились трое немцев с автоматами. Ма-

шина их застряла под горой. Все трое идут они в село за помощью. «Германия над всем светом», а три вооруженных автомата германца боятся разлучиться и подбадривают себя в русском тумане безумной песенкой.

Я побывал не менее чем в ста селах и хуторах, и везде одна и та же картина страшного разорения и запустения.

Вот село Карайкозовка, под городом Богодуховом, типичное для Украины. В нем разорены и разграблены: сельская лавка, почта, сберегательная касса. Осиротелыми висят почтовые ящики, напоминая о жизни советского села.

Врываясь в село, немцы первым делом разбивают и грабят сельскую лавку. Сгнав население и установив фотоаппарат, раздают цикорий, пуговицы. Сфотографировав, гонят, как скот, по домам. Через несколько часов приходит другой отряд и отбирает у крестьян то, что было роздано им перед объективом.

С разбитыми окнами, как слепая, стоит школа. На улицах валяются полусож-

женные парты — немцы разводили костер, разбитые физические приборы, изорванные географические карты, немецким сапогом растоптанные портреты Шевченко и Франко. В школе — солома, мерзость, скотский дух — здесь был немецкий постой. Загажена, опустошена, поругана святыня советского села.

На улицу выброшены классные доски. На одной еще сохранился арифметический пример: $2 \times 2 = 4$. И рядом, тут же, на доске немец написал самое короткое похабное слово, написал по-немецки, скот! Молодая учительница со слезами проходит мимо, дети забегают в школу и, молчаливые, выходят из нее.

Сколько сил было положено, сколько лет билась советская власть, чтобы в каждом селе был учитель и врач!

Немцы хотят в несколько дней стереть память об этом.

Я вспоминаю девушку из села Попивка, которая училась в Полтавском педагогическом институте, а теперь сидит в деревне на печи; день и ночь плачет она

от тоски. Я вспоминаю мальчика из хутора Новочеркасский, который учился в Белгородском железнодорожном техникуме, а теперь снова пришел в село и пасет скот, как пять лет тому назад.

Большое село Дунайки на реке Ворскла. В нем также разграблены, разбиты, разорены сельские лавки, больница, школа, детские ясли, изба-читальня, хата-лаборатория, машино-тракторная станция — все, чем было богато и гордилось советское село. Немецкие конюхи, расквартировавшись по соседству с детскими яслями, с удовольствием, нарочно ходили туда гадить.

Разбивая эти святые учреждения, они хотят уничтожить советское село.

Прошло только несколько недель, как хозяйничает немец, но уже в хатах на Украине (это я видел в селах Крапиловка, Довгаливка, Шишаки, Ереськи) появилась лучина, деды раскуривают люльку от кремня, и бабки бегут из хаты в хату с угольком, чтобы раздуть огонь, уже одолживают друг у друга мыльную

пену, и во многих хатах на Украине хлеб без соли и борщ без соли.

Не керосин и спички несет с собой немец, а пожары, не мыло, а вшей и эпидемии, не соль, а порох и голод.

Не о школах и больницах беспокоится немец. В Киеве, Полтаве, Миргороде открывает немец публичные дома. Уже появляются на Украине кабаки, рулетки, воровские шалманы и черные биржи.

В большом селе Терновка, в пятнадцати километрах от Белгорода, я видел по хатам целые семьи, сидящие на полу, — как в древности, они палками молотили снопы и в ступе мололи муку. Целая семья сутки бьется, чтобы намолоть муку на хлеб. И это в деревне, где была машино-тракторная станция, комбайны, колхозный хор, курсы трактористов.

В Киеве открываются публичные дома; в Полтаве на перекрестках стоят немецкие полицейские в коричневых мундирах и по-немецки покрикивают на жителей; по улицам Миргорода гуляют белогвардейские офицеры; в Пирятине казнен

крестьянин за продажу сала сверх установленной разбойничьей цены; в селе Мощеном, близ города Гайворона, возвратился кулак в свой дом и выгнал поселенную там советской властью семью колхозника.

Вот что несет с собою немец!

2

Немец в зеленой шинели — изверг, воспитанный в духе истребления.

25 сентября, на рассвете, переправляли тяжело раненных через болото Трубеж у села Борщи, Киевской области. В тумане утра слышно было: раненых вперед и вперед!

Появились немцы в зеленых шинелях. Они видели носилки, белые забинтованные головы, но они подвели пулеметы и прямой наводкой расстреливали раненых.

По горло проваливаясь в болото, бойцы выносили раненых товарищей. Но много погибло людей наших, много товарищей моих навеки остались в болоте

Трубеж у села Борщи. Никогда в жизни я не забуду эту переправу, этот разбойничий обстрел и крики раненых: «Братцы, возьмите нас с собой!»

За лесом у села Малая Березань, Киевской области, я встретил группу граждан города Киева. Среди них было много женщин и раненых. Ночами мы шли, обходя ракетчиков, днем спали в скирдах. Так было и на третий день, у города Яготина. Рассвет застал нас в открытом поле. Мы зарылись в скирдах. В сумерках я проснулся от крика: «Немцы поджигают скирды!» Зеленые шинели окружили самую большую скирду и строчили по ней из автоматов зажигательными пулями. Мы видели, как, освещая небо и степь, пылает подожженная скирда. В ней было не меньше пятидесяти человек.

12 октября я пришел в село Слободка, Харьковской области. Крестьяне рассказали мне, что на днях немцы подбили над селом наш самолет. Четверо раненых летчиков были взяты в плен. В те-

чение трех дней их не кормили и не допускали медицинской помощи. Крестьянки приходили поглядеть — не их ли сыновья в плену, приносили пироги и мясо. Еду отбирали, а крестьянок выгоняли и избивали.

3

Двадцать три года из двадцати девяти, прожитых мною, ходил я по советской земле, и ни разу никто не остановил меня и не спросил: «Еврей?» Был бы я цыганом, негром, малайцем, все равно никому бы до этого не было дела. Я был гражданином страны. Но в сентябре 1941 года, не успел я выйти из лесов и болот, которыми я сначала двигался к фронту, как на первом же шляху, у села Марьяновка, остановил меня унтер-офицер с солдатами.

— Юд? — закричал унтер, как бы обрадовавшись.

— Цыган.

— Юд! Жид! — пояснил он.

Унтер полез в карманы и стал ощупывать мою одежду с ног до головы. Коснулись меня руки фашиста!

Вдруг унтер нашел деньги.

— Банкноты! Банкноты! — закричали солдаты все разом.

Унтер забыл, что я еврей. Он забрал деньги и сказал, что поставит штамп и тогда возвратит. За триста рублей откупился я от смерти. Удивительно, до чего похожи и как мало изменились бандиты: в 1919 году отец мой точно так же откупился от петлюровцев, — они тоже взяли деньги, чтобы поставить штамп.

Еврею трудно, почти невозможно сейчас пройти по дорогам Украины. На первом перекрестке его убьют, первый вопрос, который задают патрули: «Юд?». Автомат направлен в грудь.

В селе Городище, на реке Удай, жители рассказывали, что здесь раненых и пленных евреев, бойцов Красной Армии, немцы всех поголовно расстреляли. В лагере военнопленных в Хороле на красноармейцев-евреев недели желтые по-

жарные каски и гнали штыками. В Полтаве евреи носят белые повязки, у лавочников выгоняют из очередей, запрещено продавать им хлеб. Им запрещено под страхом смерти появляться в общественных местах.

На окраине города Богуслава евреи с длинными белыми бородами стояли на холме и смотрели в небо. Чего ждут они этой ночью, кого ищут в черном небе?

Они встречают молодую луну.

В средние века, в годы инквизиции, евреи гетто благодарственной молитвой встречали молодой месяц, ибо при свете не бывало погромов. С тех пор в еврейских молитвенниках сохранилась давно забытая молитва восходящей луне, которую теперь вспомнили старики-евреи на Украине.

Выходит молодой месяц, и кажется в его свете, что длинные серебряные бороды сотканы из лунных лучей. Евреи бормочут молитву. Где-то далеко, далеко немец кричит: «Ек! Ек!» — это он погоняет лошадей.

Еврей! Явился прямой потомок того кто тащил тебя на костры огненные в остроконечной шапке, босого, с руками завязанными на спине, женщин твоего народа обнаженными, детей окровавленными бросал в колодцы, замуровывал в камни, кидал в ямы огненные и пепел развевал по ветру. Явился в зеленой шинели, весь в железе. Еврей! Будь самым храбрым красноармейцем! Отруби железную руку, которая хочет тебя истребить!

4

Лубны, Ромоданы, Миргород, Полтава, Хорол, Богдановка — лагеря военнопленных, фактически превращенные в концентрационные лагеря.

Тысячи людей, как скот, лежат под открытым небом, окруженные болотами и колючей проволокой. Это живые кладбища.

Немец ограбил их, снял с них сапоги, шинели, ватники. Они замерзают. Немец не кормит их. Они сами выкапывают в

поле и тут же грызут полузамерзшую свеклу и картофель. Иногда дают им чашку заваренного ячменя или проса, словно это не люди, а скот или петухи.

Из села Жданы и Синятин, на Суле, Хомутех и Малые Сорочинцы, на реке Хорол, крестьянки ходили в лагеря отыскивать своих мужей и сыновей. Они приносили в узелках хлеб, сало, пироги. Тысячи жадных глаз глядели из-за проволоки на эти узелки. Но часовые отбирали и тут же на глазах у женщин и пленных все пожирали сами. Иногда они кидали через проволоку картошку или кроху хлеба в толпу, как собакам.

В лагере Хорол часовые застрелили несколько женщин, которые очень близко подошли к проволоке, чтобы своими руками передать хлеб мужьям. Местные жители видят, как ежедневно из лагеря в Лубнах выезжает телега с трупами, наваленными, как дрова.

В селе Городищи несколько женщин запаслись справками от старост, что мужья их не коммунисты, не активисты, не

жиды. не комиссары, и привезли из лагерь своих мужей. Я видел их, этих беснартийных и пассивных, опухших, с синими лицами, полунемых и полуглухих от голода.

В болотах Полтавщины, в Поповских и Диканьских лесах встречаются заросшие, как дикари, полуживые люди. Они лежат в тростниках или на ложе из листьев и не имеют сил двигаться. Это беглецы из лагерей.

На дороге Пирятин — Лубны в начале октября встретил я страшную толпу. Тридцать автоматчиков на мотоциклах гнали несколько тысяч голодных, замерзших, больных людей, босых и раздетых, женщин и стариков с торбами. Впереди и по бокам мотоциклы, сзади — танкетка, и надо было бежать, чтобы успеть за стражей. И, держась за сердце, они бежали, падали, стонали, поднимали руки к небу и снова бежали. Надо было видеть, как жадно набрасывались они по дороге на подсолнух или свеклу, как запикивали их в карманы или тут же

грызли. Но некогда возиться мотоциклисту с голодным или больным стариком, женщиной. В отстающих он стреляет без промаха.

Куда гонят их, за что мстят так жестоко? Это не только военнопленные, но и граждане, мобилизованные на рытье окопов, но и старики, женщины — матери детей, молодые девушки.

В один из дней октября, в сумерках, я проходил мимо станции Ромодан. Несколько тысяч граждан, собранных в лагерь, под открытым небом, в первую снежную метель, голодные и измученные, запели вдруг песню: «Далека страна моя родная!»

Казалось, небо расколосось и гудят колокола. Я заплакал. Мне хотелось крикнуть:

«Ты слышишь, родина? Ты слышишь, красноармеец? Бей немцев, коли зеленую шинель! Дороги устилай немецкими трупами! Реки заливай черной их кровью! Приди к своим родным братьям!»

Немец в зеленой шинели — скотина и трус. На Украине и поговорка появилась: «У немца каска железная, а душа заячья».

Один он ни за что не войдет в лес. Немец боится леса, как заяц бубна. Только на опушке засядет он, коварный, с автоматом и будет ожидать хоть сутки или же прострелит лес, пули пошлет туда, но сам не войдет. Каждый лесок немцы так простреливают, будто в нем сидит целый корпус, а там одни белки да чижи.

На берегу реки Мерла, у села Любовка, на Харьковщине, я наблюдал, как автоматчик проходил через лес. Он вошел на тропинку и, держа автомат на пузе, прострочил ее вдоль и поперек и вокруг, будто обводил себя волшебным кругом. Затем прошел шагов пятьдесят и снова прострочил тропинку и двинулся дальше. Так он дошел до избышки лесника.

На ночь немцы прячутся в селе. За

сорок пять дней я ни разу не встретил ночью в поле немца. У каждой хаты стоит часовой. В большинстве случаев спать не раздеваясь, с гранатами, обняв автоматы.

В селе Зубовка, у реки Псел, на Полтавщине, они выгнали хозяев из хат. Во время постоа плетни, сараи, фруктовые деревья — все идет на топку.

Немцу холодно. Он раскаляет плиты докрасна. Во многих селах немцы кожгли таким образом хаты.

Ночью не выйдет немец за околицу села. По краям села ракетчики отпугивают прохожих да себя подбадривают огнями. Товарищ, не бойся ракеты! Ее пускает трус.

Я видел, как немецкий ракетчик в ненастную ночь, спрятавшись под плащ-палатку, пускал ракеты, но сам даже не выглядывал из-под нее, боясь встретиться с глазу-на-глаз с украинской ночью.

Если немецкий патруль услышит шум, — стреляет трассирующими пулями. Товарищ, не бойся огненных пуль! Это —

фейерверк труса. Автоматчик никогда не целится. Он строчит в ночь, чтобы напугать тебя и себя подбодрить.

В селе Ямны, на реке Ворскла, селе Касилове, Гайворонского района, в селе Черкасское, Курской области, и в ряде других сел я видел, как немцы, нажравшись, ночью боятся заходить за угол хаты, а оправляются прямо на крыльце, причем дверь в освещенную хату всегда оставляют открытой. Так и сидит в свете немец, подняв на голову зеленую шинель, с гранатами на поясе, на глазах всех. Высшая раса!

Нигде — ни на позициях, ни в мирных городах не видел я такого страха перед самолетами, как в немецком обозе. Похоже, будто самолет залетел в сумасшедший дом. — такая на шоссе поднимается паника.

В селе Хваленково, недалеко от станции Коломак, Южной дороги, при налете наших самолетов я видел, как немцы выгоняли стариков, женщин и детей из окопчиков и погребов, сами залезали в

них и оттуда покрикивали на мечущихся людей: «Русс, дурак!» Совершенно безумеет немец при виде краснорозвездных самолетов.

Орлы! Друзья дорогие, летчики-штурмовики, бомбившие и расстреливающие немецкие колонны! 3 октября у села Большие Сорочинцы, на Полтавщине, 9 октября на шляху Диканька — Опишня, 13 и 14 октября по дороге Колонтаевка — Красный Кут — Богодухов, в конце октября у Писаревки и Гайворона, в начале ноября у Белгорода я был под вашими крыльями! Я стоял на земле, где падали ваши бомбы, и своими глазами видел, как в страхе, с криками разбегались с дороги немцы, как прятались они под сараями и хатами, падали в канавы, искали спасения и как наступали вы их, как гнались вы за ними, чуть не садясь им на плечи. Странное чувство! Я и мои товарищи стояли совершенно открыто, и не было страха в нашей душе. Ведь это были наши самолеты!

Бомбы падали в черные машины, похожие на катафалки, прямо на головы немцев, и с дикими стонами расплзались по шляху разбойники в красных от крови шинелях.

6

Когда близится фронт, в небе появляются самолеты, на земле — танки, по дорогам гремит — летят мотоциклетки. По ночам — фейерверки ракет. Шум, как во время землетрясения.

А потом тишина, слышно, как кричит на селе случайно уцелевший петух. Немец не закрепляет занятой территории. У него нет людей.

В тылу, в селах, редко вы встретите немецких солдат. Можно идти пять суток и не встретить в деревнях ни одного немца. Лишь пронесутся по дорогам мотоциклисты или унылый проедет обоз, охраняемый немцами, вооруженными польскими винтовками.

От села Вольные, на Ворскле, до Веденской Гетни мы в двое суток прошли

через десятки сел и хуторов. Население там даже не видело немцев, хотя фронт уже был далеко впереди.

Немецкие войска двигаются только по дорогам. К шоссе Белгород — Курск немецкие войска двигались по дороге Томаровка — Стрелецкое — Ново-Александровка — Быковка.

Местный крестьянин посоветовал мне взять правее на семь километров, на село Березовка. И действительно, в селе Березовка немцев не было, хотя это была линия фронта. За селом я пошел балкой, селом Ерики — и здесь немцев не было. Я вышел на шоссе Белгород — Курск. Пусто. Ни одного человека. Пересек шоссе, пошел через села Шопино, Терновка, Хохловка. Ни одного немца. К вечеру в селе Казацком встретил первых наших красноармейцев. На следующий день за мной без единого выстрела перешел через фронт целый артиллерийский полк одной из наших гвардейских дивизий, побывавшей в тылах у немцев

и нанесшей им там сокрушительный удар.

Солдат у немцев хватает только на дороги, на видимость фронта. Вся эта гигантская авантюра, не имеющая себе подобных в истории войн, построена на лжи и обмане своих солдат.

В сентябре у Киева солдаты говорили по хатам:

— Харьков капут!

Их везли на восток, и они смеялись, уверенные, что едут в свой Харьков. Они пели песни в своих черных машинах, стреляли по дороге кур, кололи свиней и жрали, едучи в свой Харьков. Но вдруг на второй неделе путешествия, у станции Кочубеевка, за сто двадцать километров до Харькова, услышали они артиллерийскую стрельбу. Они еще не успели удивиться, как их бросили прямо в огонь, в кровопролитные бои у станции Коломак и Водяная. И они сложили здесь свои головы.

В конце октября у Белгорода уж другие солдаты говорили по хатам:

— Воронеж капут! Рязань капут! Москва капут!

Так их уговаривали, чтобы довести до огня и бросить в огонь.

7

Немец в зеленой шинели — разбойник и грабитель.

Зеленые шинели на велосипедах и мотоциклетах врываются в село. Еще за околицей строчат пулеметы, еще слышны крики боя, а они уже по хатам:

— Яик! Млика! Шпиг!

Их не понимают, но они научились, грабители, и разворачивают платочек, в котором кусочек сала.

— Шпиг! Шпиг!

Или вынимают из сумки яичко и, показывая, кричат:

— Яик! Яик!

Народ видит в немце разбойника. Мать узнает убийцу своего сына, сестра — палача своего брата, мальчик — мучителя своего отца. И молчание в хате,

когда входит зеленая шинель. Он, как собака, лает, но никто не понимает чужеземца. Все молчат. Он рыщет, как хорек, по всей хате, заглядывает в печь, нюхает горшки, лезет в погреб, на чердак, тащит сало, яйца, муку, поднимает половицы, отбивает замки, копается в семейных сундуках и лает, лает, все требует что-то по-своему. Полна хата людей — и дед старый, и бабка, и невестки, и дети, — все стоят и молчат. Страшное, грозное молчание вокруг немца.

По всему селу выстрелы — это немцы строчат из автоматов по курам и гусям. Они и не сожрут столько, но глаза их жадны и завидуши.

В селе Пидплет, на Харьковщине, я видел убитых кур и гусей, наваленных кучами. Вытянув головы и закатив глаза, лежали они под заборами. Немцы давно прошли, но никто не притронулся к птицам.

У села Дубровка в больших прудах плыли, как в сказке, гуси-лебеди. Они плыли навстречу заходящему солнцу, и

шей их были золотыми. Я проходил мимо и любовался ими. На дороге появился мотоциклист и с ходу прострочил из автомата; гуси закричали, немец захохотал и проехал.

В селе Павлюковка, на берегу реки Мерлы, немцы забрали даже детскую обувь, даже полотно на саван. Они грабили всех — от младенца до старика. Они крали отовсюду — из люльки и из гроба.

Они грабят живых и мертвых. В поле, между селами Байрак и Диканька, и у линии железной дороги за станцией Готня лежали трупы убитых красноармейцев, босые, без шинелей, в одном белье, — это след, оставленный немцами. Кладбищенские мародеры! Я видел немецких солдат, которые носят наши шинели под своими. У многих по несколько свитеров, и они в хатах хвастаются: вот это польский, это чехословацкий, это французский! Почти у всех солдат часы, и не одни, а по двое часов на обеих руках. Увидят они час своей смерти!

Несчастно село, которое стоит на шляху. Немец двигается по шляху и грабит это село и день и ночь. Остановится обоз на минуту, и сразу же налетает зеленая саранча.

Проезжал обоз мимо села Марьяновка, на Полтавщине. В крайнюю хату забежал немец:

— Яик!

Хозяйка указала на молоденькую курочку:

— Ще не несется.

Тогда немец схватил курочку в мешок и побежал дальше.

В селе Качаливка, под городом Богодуховом, крестьянки, заведя зеленые шинели, запирают хаты на замок и убегают. Но недолго стоит немец перед замком. Летит замок, и дверь, и окна.

У моста на Красный Кут, на Харьковщине, я сидел в избушке сторожа торфяных разработок. Проехало трое немцев, увидели свинью и тут же закололи ее. Голову кинули хозяйке, разрубили

свинью на три части, завернули в новое хозяйкино платье и занавески, и каждый унес свой кусок.

На поле, у села Кичевка, возле Константиновского сахарного завода, колхозники накладывали на подводу картошку, накопанную за день. Проезжал мимо немецкий кавалерист и увел подводу со всей картошкой в деревню. Старика, который стал спорить, кавалерист ударил шпорой в лицо. Долго стояли старики и женщины и смотрели вслед удаляющейся подводе: не верилось им, что так просто лишились они всей картошки. Но настала ночь. Старики, женщины и дети ушли домой.

В село Тарасовка, на Полтавщине, вечером вошел немецкий обоз. Пятеро немцев вошли в соседнюю хату, и я вечером через окно мог видеть, что происходило там. Они накалили плиту, сняли рубахи и над плитой вытряхивали их. Хозяйка потом говорила, что от падавших на плиту вшей стоял такой треск, как во время зенитной стрельбы. Они

так чесались, что свинья, присутствовавшая при этом, глядя на них, и сама стала чесаться. Старуху-хозяйку заставили ощипывать дюжину гусей и жарить. У нее были пальцы в крови, а у них губы в сале. Они жрали и хохотали, глядя на гримасы старухи.

Знают на Украине, как нажравшийся немец хохочет. Кровью заплатит немец за этот хохот!

Я видел, как создавался немецкий продовольственный обоз. В конце октября в хутор Новочеркасский, Курской области, въехали немцы на подводах и, следуя из хаты в хату, забирали муку, картофель, ячмень, выкатывали бочки с соленьями, выносили кули, вытряхивали лари, стреляли по дороге кур и гусей. Только перья летели. Кололи свиней. Стон стоял до неба. За подводами бежали женщины и дети и кричали: «Пане!», а немцы отмахивались автоматами и погоняли коней.

— Ек! Ек!

Подводы выехали из села; я пошел за

ними. По дороге на Томаровку, районный центр вблизи Белгорода, к этим подводам из разных сел и хуторов присоединились такие же подводы, и вскоре на шляху вытянулся немецкий продовольственный обоз.

Как на похоронах, на шляху крик, плач, вопли женщин и над всем страшные немецкие проклятия да свист бича: «Ек! Ек!»

Старики провожают обоз палками, — погуляет палка по спине твоей, немец! Женщины провожают обоз криками, — и ты закричишь, немец! Дети провожают обоз кулаками, — подрастут дети, немец!

Зеленые шинели с автоматами стоят на дорогах и перекрестках.

— Хальт! Папир! (Стой! Документы!)

И начинается грабеж. У крестьян, у прохожих немецкие патрули забирают сахар, махорку, спички, последний кусок хлеба. Солдаты стоят на часах с торбами. Эти торбы наполнены сухарями, пирогами, кусками сала, полусъеденной курицей. Патрули раздевают, снимают са-

поги. забирают свитеры, ватники. Люди уходят босые и голые в стужу и холод, не смея оглянуться на разбойников.

В тумане я спутал дороги и попал в Бутово — штабное село. Из тумана выплыл немецкий патруль. Немцы обступили меня и, как по команде, залаяли:

— Махорка? Вудка?

Залезли ко мне в карманы. Я смотрел в их лица. Их трясло от холода, зубы их стучали. Холодно в русском тумане. Холодно им будет в русской земле!

Они голодны, эти зеленые собаки. Однажды в степи я видел, как офицер оставил старика. Снял с него котомку и стал рыться. Из котомки он вынул две ковриги хлеба. Одну он начал жадно есть, вторая была мокрой. Он отрезал ножиком сырой кусок и спрятал хлеб в сумку.

Немец пришел на Украину. Он хочет нажраться сразу и надолго. Во всех деревнях крестьянки рассказывают одно и то же: немец во время постоя жрет с утра до вечера, жрет не переставая. Ес-

ли посчастливится. Он глотает масло ложками, пока не стошнит. Немец ест толстый, жирный кусок сала на тоненьком, как бритва, куске хлеба. Навек не нажрешься!

У ветряков на горе стоят люди лицом к ветру.

Ветры, дуйте, ветры, дуйте! Чтобы быстрее вертелись крылья мельницы, не то придет немец в зеленой шинели и забрет муку и велит испечь ему пироги.

В хате мать уговаривает детей:

— Скорей кушайте, дети, скорей! Придет немец в зеленой шинели — все выпьет, все сожрет.

Дед уговаривает бабку:

— Скорее, бабка, заколем кабана. Режь петуха и гусей. Придет немец в зеленой шинели, — сам заколет, сам сожрет!

Зеленая шинель торчит с мешком у печи, пока пекут хлеб; забирая его еще горячим, он хохочет, указывая на дымящиеся хлебы, говорит:

— Капут!

Зеленая шинель на рассвете стоит, пока доят коров. Он забирает молоко. Если мать указывает на детей, зеленая шинель приподнимает свой автомат и говорит

— Пух! Пух!

«Капут» и «пух-пух», эти слова вспомнятся, когда зеленая шинель побежит назад через Полтавщину и Киевщину. Эхом отдадутся они в лесах, в степи, в осоке болот. Дед и внук мне говорили:

— Пусть только немец побежит!

У каждой хаты, у каждого дерева будут поджидать его с топорами, вилами и цепами. И скажут:

— Капут!

8

Порядки, которые вводит немец, приближают день народного восстания.

Вслед за фронтовиками едут по деревням интендантские офицеры. В начале октября, при выходе из села Байрак, на Полтавщине, из-за поворота вылетела машина-малолитражка. В ней открылось

окно, и оттуда крикнули: «Алло!» Я по-
дошел. Немец спросил:

— Байрак?

— Байрак, — отвечаю.

И вдруг на чистом русском языке:

— Я сегодня здесь назначил сходку
мужиков, где она собирается?

Я посмотрел в лицо офицеру.

С седыми висками и покрасневшими
глазами, сидел передо мною на подуш-
ках русский петлюровец.

Интендантские офицеры — шкуры, не-
мец — жулик и вор или поседевший у
общественного писсуара в Берлине пет-
люровец сбивают замки с колхозных ам-
баров, учитывают зерно, ячмень, наклад-
ывают печать. Кто сорвет печать —
расстрел. Но пока в селе Вольном наклад-
ывали печати, позади, в селе Городи-
ще, партизаны уже сорвали их и розда-
ли зерно.

У колхозного сена поставлены немец-
кие сторожа. За клоч сена — расстрел.
Но ночью в Павлюковке избили сторо-
жа, и сено жуют крестьянские кони.

В сорок восемь часов приказал немец свезти весь колхозный инвентарь, который разобрали колхозники. За утайку даже колхозной уздечки — расстрел. Немцы готовят экономию помещику. Но многие крестьяне в речку побросали инвентарь.

За предоставление ночлега проходим — расстрел. За помощь — пытки и расстрел. Но крестьяне нас перевозили через реки Сулу, Хорол, Псел, Удай, Ворсклу, водили через болота, через лес — указывали дорогу.

В городах на Украине немец установил разбойничьи низкие цены на продукты сельского хозяйства. За превышение цен — расстрел. Но селянин не везет продуктов в город. Он смеется над немецкой бесценной бумажкой, оккупационной маркой. На этой марке изображен селянин, подстриженный под скобку, этаким мужик-русс. Гитлеровские дурачки думали подкупить этим украинского мужика. Они везут эти бумаж-

ки целыми тюками. У каждого офицера их полная сумка.

Новый порядок на Украине — это смерть! И день и ночь ждет тебя немецкая пуля.

Ночью идешь — ожидают ракетчики. Попадешь под свет — пуля в сердце. Ночью спи!

Днем идешь по полю, пронесется шляхом мотоциклист — пуля в сердце. Иди дорогой!

Ты — раб! Ты — раб, ты — бессловесный скот!

Идешь по дороге. Немец чинит мост или набирает сено, или метет лошадиное дермо.

— Эй! Становись!

И продержит он тебя и день, и ночь, и неделю, и месяц.

Конвоир гонит пленных. У него сбегало несколько человек.

Повстречался ты на шляху.

— Эй, становись! Для счета.

Скачешь на коне. Немец навстречу на

замученной, забитой, с окровавленными боками лошаденке.

— Эй!

И твой конь — под ним, его лошаденка — под тобой.

Ты — раб! Ты — раб, ты — бессловесный скот! Ему все равно — говорить с тобой или со свиньей, или с волом. Он и не говорит, он машет автоматом, как железным продолжением руки. И автоматом укажет: становись или иди, или ложись. Или застрелит.

И люди-то идут все согбенные, будто чувствуют, как немец сидит у них на спине.

Встретил немца, снимай шапку: «Здравствуй, пане».

Вошел немец в хату, снимай шапку: «Пожалуйста, пане!»

Съел, сожрал немец твой обед, снимай шапку: «Благодарен, пане!»

Изругал по-немецки, посмеялся над тобой, снимай шапку: «Хорошо, пане!»

Но скоро, скоро настанет час, когда отдельные партизанские действия, налеты

и засады перерастут в бунты целых сел. когда поднимутся все от млада до стара, и порубят, вырежут немцев по хатам, поднимут их на вилы, измолотят немцев цепами, побросают их в колодцы.

Каждый куст тогда станет живым. ветви превратятся в руки и задушат немца. Каждый крест на кладбище будет стрелять, будто все предки проснулись бить немцев. Каждый камень вдруг закричит: «Стой!»

Земля запылает под немцами. Живыми они не уйдут с нашей земли.

9

Все, что я рассказал, — это только факты. Это все, что я сам видел. Это свидетельские показания очевидца.

Много сумасшедших бродит по городам и местечкам правобережья. В Чернигове, в сожженном и загубленном немцами городе, после немецких бомбардировок по улицам бегали сумасшедшие люди, чьи дома и дети погибли в огне.

Много безумных видел я и по дорогам, левобережья Украины. Это люди, не выдержавшие немецких пыток. Вдруг выскочит из подсолнухов, осоки или болота обезумевший, в лохмотьях, человек и закружится на одном месте.

И ты, немец, обезумеешь! И, закутанный в бабьи жакеты, в бабье трико, побежишь. Услышу я этой зимой в русских снегах крик сошедшего с ума немца!

Тихо на Украине, как на кладбище. Загудит на дороге машина, все вздрагивают: едет немец!

И только по дорогам слышится крик:
— Ек! Ек!

Это немец погоняет волов, которые тащат застрявшие пушки.

Детей на Украине пугают:
— Вот герман идет!

Герман!

С молоком матери дети всасывают ненависть к немцу. Горе тебе будет, герман! Не забудут и дети, и внуки твоих злодеяний, герман!

Изменился пейзаж Украины. На всех дорогах, у обочин выросли белые кресты с черными надписями, с черными касками, сожженными, пробитыми и изрешеченными. Это могилы немецких солдат. Это путь немецкой армии.

У Больших Сорочинец, у Диканьки, у Попивки я видел уже поваленные кресты: народ мстит и мертвым немцам.

Наступает декабрь—месяц белого снега. На белом снегу России ясно видна цель — зеленая шинель. Не промахнись, товарищ!

26 ноября 1941 г.

ЧУЖЕЗЕМЕЦ

I

— Германцы! — закричали дети и разбежались.

Тотчас же село Иванкивка осветилось пожаром. Горели подожженные зажигательными снарядами крайние хаты.

Любит немец въезжать в огненные ворота.

С трех сторон влетели в село мотоциклетки, и с ходу автоматчики прострочили его вдоль и поперек трассирующими пулями. Пали люди, кони, псы, петухи.

И поднялся шум, как при землетрясении. Над селом свистят ракеты. Ракеты,

ракеты, ракеты! Сумасшедшие мотоциклетки прутся прямо в хаты. Сбивая яблоны и вишни, в сады въезжают танки. Тычут кони в окна морды. А на пороге немец!

Сначала в хату заглянул автомат, а за ним уже появился и немец. Жирный рыжий немец, настоящий Фриц. Автомат на пузе. Фриц совершенно обалделый.

— Русс солдат?

Все молчат.

Деду старому, безрукому:

— Русс солдат?

К люльке:

— Русс солдат?

Автомат впереди, за ним Фриц. Он лезет под печь, на печь, в углы и все время выкликает:

— Русс солдат?

И, только убедившись, что в хате нет «русс солдат», он закричал:

— Яик!

У него появился аппетит. Русский солдат отбивает у немца аппетит.

— Яик! Яик! — кричит немец старухе.
И вот начинается разговор между немцем и украинской бабой.

— Немае, — отвечает старуха.

— Бутгер! Масло, масло! — лает немец, наступая на старуху.

— Немае.

— Шпиг! Шпиг!

Никто не понимает.

Старуха несет иголку.

— Шпиг! Шпиг! — Фриц вне себя.

Он разворачивает платочек, в котором кусочек сала, и торжественно провозглашает:

— Шпиг! Шпиг!

Но старуха так же спокойно отвечает:

— Немае.

— Немае, немае! — кричит немец. —
Вас ист дас «немае»?

И немец лает, лает, требует что-то по-своему, но откликается только собака. Никто не понимает чужеземца.

— Ты толком говори, — говорит дед с печи.

Немец плюет от ярости и рыщет по хате. Он заглядывает в печь и сует нос в горшки. Борщ. Немец нюхает:

— Фуй!

Он опускает нос во второй горшок, где кулиш. И снова недоволен:

— Фуй!

Подымается пар над крестьянским обедом. Фыркает немец.

— Щи да каша — пища наша, — откликается дед с печи.

— Щи да каша! — кричит немец. — Швайн! Свинья!

Не нравится немцу русский обед. Готовь, баба, немцу немецкий обед!

Немец заглядывает в квашню. Пеки, баба, немцу пироги!

Немец лезет в погреб. Насолила баба немцу огурцов.

Немец лезет на чердак. Насушила баба немцу груш.

Куры спали на насесте. Немец разбудил их.

— Не время спать! — И саблей отрубил головки, лишь брызнула кровь до потолка.

Петух проснулся и впервые за всю свою петушину жизнь закукарекал в сумерках. Но не закончил: немец отрубил и его хвастливую голову. Сразу тихо стало и пусто.

Вдруг хрюкнул где-то поросенок. Фриц заглянул под лавки, в углы, даже под образ Христа-спасителя.

Немец вне себя:

— Шпиг! Шпиг!

Он вытянул шею и прислушался. Хрюкнуло под печью. Фриц вытянул мешок, из которого, жмурясь, вылез розовый поросенок. Фриц от удовольствия поднял страшный крик. На крик прибежали еще два немца с торбами, спрашивают Фрица, что случилось. Но Фриц хрюкает вместо ответа. Он от радости и говорить разучился.

Но те двое увидели невскрытый сундук. Это была высокая украинская скриня, окованная желтыми медными поло-

сами, которая переходит от деда к правнуку и живет столько же, сколько род. Она стояла в красном углу, как святыня крестьянского рода.

— О! О! — закричали оба немца сразу.

— О! — повторил Фриц, у которого вдруг открылись глаза на сундук.

Трое немцев стоят над сундуком и колдуют. Не открывается немцу старинная скрыня. Они ломом бьют, ломом разбивают. Тухнет лампадка под образами, открывается сундук. И немцы все сразу заглянули в него. Раздается крик Фрица:

— Цукер! Цукер!

И не только эти трое, но и проходившие по улице немцы высунули языки, словно упрасывая обсыпать их сахаром. Давно, давно немчуре не было сладко!

Каждый подставляет свой мешочек Фрицу, и они делят сахар. Фриц себе в мешочек сыплет побольше.

Из-за куска мыла у них поднимается спор. Все вдруг начинают чесаться, а Фриц больше всех, доказывая, что

ему мыло нужнее. Наконец они разрезают мыло на три равных куска и перестают чесаться.

Фриц вытащил старушечий теплый капор с лентами. Он надевает его на свою рыжую голову. Остальные ведут его, как невесту, к зеркалу, поправляют капор на голове и хохочут. Фриц оставляет его себе. Старушечий капор под железной каской!

Вытащил немец вышитую рубаху. Дед надевал ее только в праздники. Рубахе вот уже двадцать лет, а она все новая, и красная стежка горит, как кровь.

Рубаха была до пят маленькому Гансу. И все захохотали. Ганс ее с треском разорвал, и дед почувствовал, как кровавая стежка пролилась по его сердцу.

2

А на селе перестрелка. Кричат бабы, трубят гуси, лают псы да немцы. Один за другим приходят в хату немцы, в пуху и перьях, измазанные петушиной

кровью, и бросают старухе окровавленную птицу.

Срубили немцы за хатой три яблони, еще прадед посадил их, дабы внуки ели яблоки и вспоминали, что жил на свете прадед. Подбросили они в печку книги, ученические тетради, дорогие крестьянскому сердцу фотографии, накалили плиту. Трещит плита, летят искры.

— Пане, пане! — кричит старуха.

А они подбрасывают дров.

— Гори, гори, изба чужая!

Жара, как в бане. Разуваается, раздевается, оголяется немчура. Тела белые, жирные. Чешутся у огня и хрюкают, будто в хате полно свиней.

Кто греет ноги, кто пузо, каждый по своему характеру. А Фриц, утомившись чесаться, поставил огню свою рыжую голову, и, кажется, горит его рыжая голова.

Развязали немцы мешочки, повытаскивали свои кастрюльки да чашки глубокие, тащат вилочки, ножики: понавезла немчура чем кушать.

Пар над столом. Ломится стол от кушаний.

Десять немцев сидят за столом. Поснимали фляжки со своей немецкой бурдой (воды на Украине немец боится), жрут и запивают.

Шум, как на ярмарке. Кричат и показывают друг другу, что у них на тарелке, свистят и, жуя полным ртом, по-немецки весь свет ругают. Орут друг на друга, как на коней, и хвастаются. Поднимет один цыпленка за ножку и грозитя проглотить сразу, одним махом, другой разрывает рыжими немецкими руками свиную голову и уверяет, что она ему на один зуб. Третий бьет яйца и пьет с налету. Выльет в глотку и хохочет, и идет за столем спор, кто выпьет больше яиц. Четвертый, как журавль, засунул голову в крынку со сметаной и, запрокинув ее, пьет и пьет. Вся рожа белая.

Не было еще такого срама в русской избе!

Старая бабка, привыкшая к тишине во время трапезы, плюет во все стороны:

— Тыфу, тыфу, тыфу!

Родная хата! Луной освещенная белая хата с цветами бессмертника между окнами. Родная хата, где выросли поколения крестьян, где посреди на крюке всегда качается люлька, и сын крестьянский, как на корабле, отправляется в страну сновидений, в неизведанные края, где когда-нибудь будет на коне и со шпорами. Родная хата, откуда открыты двери во весь мир! Опоганена ты и остужена немцами. Вшами его засыпана.

Ходит немец от порога, от стены к стене и рассматривает фотографии. Там чужие, незнакомые лица. В шлемах со звездой, в высоких пилотских фуражках с гербами и меховых унтах среди белых снегов. Немец тычет пальцем в фотографии:

— Матка! Муж, муж?

— Муж, — отвечает крестьянка.

— Русс солдат? Капут, капут! — и немец хохочет, указывая пальцем в землю.

Фрицу весело оттого, что хозяин хаты в земле.

Немец тычет в другую фотографию:

— Капут!

Так он ходит, рыжий немец, вдоль стены и, указывая на все мужские портреты, ржет:

— Капут! Капут! Капут!

Вдруг он натывается на географическую карту.

Безрукий дед, бабка, двое ребят, соседка стоят, опустив головы. Пьяный немец рисует на карте кружки вокруг советских городов и кричит:

— Москва капут! Петербург капут!

Разгорячившись, Фриц обводит кругом всю географическую карту и говорит:

— Капут!

Взял охмелевший Фриц со стены гармонь и растянул.

Гармонист, гармонист, удалый ты хлопец! Гармонь твоя в руках у Фрица, он играет на ней проклятую песенку.

Ночь. По хатам немцы, обняв автоматы, с гранатами на поясе, повалились в ряд. Храпят, как в конюшне. Бормочут и чешутся. И бред чужой, и сны чужие. Много глаз глядят на них: облей керосином солому и зажги немецкие сны!

Качается люлька в хате.

— Кто это, мама, не свинья ли чавкает?

— Спи, мой родный! Спи, мой Василек! То чужеземец жрет, ой, люли, люли, люли, бом!

— Кто это, мама, не домовой ли?

— Спи, спи, мой родный! Спи, мой Василек! То чужеземец храпит. Ой, люли, люли, люли, бом!

— Что это, мама, так тихо стало в нашей хате?

— Спи, спи, мой родный! То чужеземец заснул. Ой, люли, люли, бом!

Заиграла труба на рассвете, зарычали моторы по садам-огородам. Проснулся и Фриц, огляделся в свете утра.

Висели на стене крестьянский топор и пила. Пригодятся Фрицу в походе. На подводу!

Стояло ведро у колодца. Будет Фриц коней поить. На крючок!

В горшках стояли просо и крупа. Крупу в мешочек, а просо рассыпал Фриц по двору в благодарность за ночлег.

Вдруг выскочил кролик и поглядел на немца. Рыжий немец удивился, как он его раньше не заметил, и застрелил на месте. Закатил кролик свои косые глаза. Будет у Фрица обед!

Надел Фриц фляжки, сумки, патронташ, два пуда железа. Снова нахлобучил проржавевшую каску на вшивую голову. Загремели железные башмаки:

— Бум, бум, бум!

Фриц в поход пошел.

По-иноземному заиграли барабаны.

Разбежались немцы, похватали лампы,
разливают керосин и поджигают.

Гори, гори, Украина, за Шиллера и
Миллера!

В тумане и дыму лай немцев и псов.

В тумане и дыму идут густые шерен-
ги, черные каски, черные автоматы, как
мыши на водопой.

РУССКИЙ ДОМ

Еще небо не остыло над горящим городом и пролетающие облака казались жар-птицами, еще тень повешенной качалась над площадью, покрывая ее всю, еще слышались на окраинах крики немцев, как удаляющийся собачий лай, а жители уже входили в свой город.

Мать несет ребенка. Она приоткрывает его лицо и как бы показывает горящий город, в свете пожара готовит из него мстителя.

Старик тянет на санках свое ложе, на котором он думал в лесу умереть, а теперь возвращается в город жить. Еще пригодится его жизнь!

Дети идут по знакомым улицам, от

которых остались только камни мостовой, и удивляются — где же их дома?

Стены города лежат, поверженные. Лишь черные трубы глядят в небо. Одни трубы остались от сожженного города, как символ бессмертия очага.

Тротуары в крови, будто ночью выпал кровавый дождь. Снежная баба на углу и та в крови, как в красном платье.

В садах-огородах под яблонями черные немецкие машины, будто гробы, ожидающие покойников. На воротах немецкие надписи, как проклятья.

Черные, обгорелые дома с балконами. Вот целая семья сидит за столом — во время вечерней трапезы накрыла их немецкая мина. У окна над прялкой мертвая старуха, в окостеневших пальцах ее нити. Сапожник, нагнувшийся в своем кресле, сидит с недошитым сапогом в руке. Женщина лежит навзничь у люльки. Люлька еще качается. Сын ее спит. Дети растут во сне.

По улицам валяются убитые немцы с черными лицами, ощерившие зубы, по-

хожие на псов, на хорьков, на волков, на всех зверей, вместе взятых.

Крысы бегают по городу, всюду крысиный писк. Появились какие-то желтые собаки. И вот свинья поднимает красное, в крови, рыло.

Люди идут, идут и идут по длинным сожженным улицам. Они подходят к знакомым калиткам, но калитки никуда не ведут. Остался один только порог!

Они раскрывают уцелевшие окна, но видят в них лишь черное небо.

В эту ночь шла и старая женщина, мать красноармейца, и всех встречных спрашивала, цел ли ее домик у мостика, Стретиловская улица, красный петух на крыльце. Но никто не знал, цел ли ее домик, не улетел ли красный петух.

Старая женщина приходит к своему домику с голубыми оконцами, из которых всегда белели занавески и фикусы, такие дремучие, какие, наверно, и в Африке не растут. Дальше лестница во флигелек, а там крашенные полы, белая кафельная печь, на которой грелся **всем**

известный кот Митрофан, и большая, вся в золотой меди, торжественная икона, у которой лампадка не потухала ни разу за все шестьдесят лет, которые помнит старуха.

Она подымается на крыльцо.

— Цып, цып, цып!

Но никто не прибегает. Даже петушок на крыльце, и тот исчез, и деревянного петуха, наверно, немцы сожрали. Она окликает соседок:

— Марья!

Никто не отвечает.

— Анисимовна-а-а!

— А-а-а! — отвечают пустые окна.

И лишь два огненных глаза смотрят на нее с крыши. Это кот Митрофан, ободранный и обгоревший, с обрубленным хвостом.

— Митрофан, Митрофан! — сказала старуха и вдруг заплакала.

Дверь была раскрыта настежь, видно, из нее только что бежали. Черная каска лежала на пороге, как череп немца. А на лестнице брошенная намыленная

кисточка (не добрил ты щетину, немец), нашивки, гербы немецкие и подтяжки (держи штаны, немец!).

Лестница вела прямо в небо, крыша была снесена. Старая женщина поднималась и видела звезды. Она узнала их: они всегда стояли над ее домом.

И здесь наверху двери были настежь, и она вошла в комнату. Это была смесь свинюшника, псарни и гнусного немецкого хлева.

Люди русские! Поглядите, что сделала немчура из русской избы. Русская светелка, такая белая и чистая, что казалось — из окошка твоего лебеди вылетают. Загадил, зачадил, очернил тебя немец. Заплевал твои стены. Намалевал на них свои немецкие фигурки. Украд твои белые занавесы на лошадиные попоны, изломал прялку, измял, разорвал святую твою постель...

Будто стадо рогатых кабанов тут прыгало до потолка, плясало и колотило копытами о стены. Стены порублены и побиты, заплеваны, забрызганы чернилами,

похабными словами исписаны, немецкими хохочущими рожами измалеваны. Старая женщина схватилась за сердце, — ей послышалось хрюканье, будто рожи эти ожили. Углем нарисованы такие картинки, увидев которые даже кот Митрофан замяукал от стыда.

Комод и шкафы и столы — все вытащили на середину, все ножами поизрезали и ножами же написали слова — только дерево и камень могли выдержать.

Повырывали все дверные ручки, посрывали цепочки с висячей лампы, посдирали даже медные бляшки с иконы, прокололи перины и подушки и выпустили пух на все четыре стороны света.

Широкая деревянная кровать, где родилась она сама, где лежала и услышала первый крик своего ребенка, где дочь родила ей внука, где все их поколение, Ерофеевых, видело свои первые сны, порублена на щепы и сожжена немцами. Серебряное зеркало, перед которым прошли все ее годы, отраже-

ние всей ее жизни, — оно видело ее маленькой девочкой с косичками, и невестой в сиянии венчальных свечей, и матерью, окруженной детьми, которым она отрезала ломти хлеба, и старухой в белом чепце, зеркало это побито, будто бодал его немец рогами.

Выкатили немцы все кадки и сожрали соленья, вылизали все варенья и выбросили все банки, выставили их в ряд и нагадили в кадки, и в банки, и в корыта, и в горшки, и в кастрюли.

Старая женщина не выдержала и заплакала. Родной дом, родной очаг, где вся жизнь прошла, снились сны вещие, где прошли все утра и все сумерки, где сверчок играл на своей скрипке одну и ту же песню и под музыку эту проходила жизнь, опозорен, осквернен немецкой харей.

Плачет и воет ветер в трубе, и кажется ей — это труба плачет вместе с ней по опозоренному, опоганенному очагу: «Плачь, плачь, женщина!»

И когда выплакала сердце, взяла во-

няк и все начисто замела и бросила в костер, — только затрещали вши. Гори, гори ярким огнем, немецкая рвань, на веки веков! Старая женщина стоит на коленях, и сама собой сотворилась молитва: во веки веков не видеть немецкой рожи, не слышать немецкого лая, не чуют немецкого духа русскому человеку!

Топором вырубил немецкие слова и картинки, острым ножом соскоблила, огнем выжгла. Вымыла немецкую пакость, дымом прокурила весь дом.

Подряд десять дней по утрам открывала окна на восток, впускала ветер и восходящее солнце. А когда побелили стены, показалось, будто в комнате восходит солнце. Покрасила наличники, старика попросила петуха вырезать, поставила на свое место на крыльце — пусть кукарекает, встретит сына с войны!

Ярко горели свечи в чистом пустом доме. Одна ходила по дому мать красноармейца и вдруг остановилась перед большим портретом отца ее сына. Ста-

рый конник, буденновец, изображенный в раме на коне, с занесенным клинком, был весь прострелен, будто немцы боялись, как бы он ночью не выскочил из рамы и не посек их в капусту.

Но и весь простреленный пулями, он скакал так же лихо, с буркой на плечах и в папахе, — не впервые ему слышать свист пуль. И старая женщина, глядя на него, воображала своего сына с такими же усами, в такой же папахе и со шпорами, скачущего на коне, в неведомых ей землях. Ей даже показалось, что она слышит топот копыт и треньканье шпор. По лестнице подымались кавалеристы.

Вошел первый, похожий на ее сына, вошел второй, и тоже похожий на ее сына, и третий, и тоже похожий. И она поняла, что это все ее сыновья, и приняла их, как родных детей. И они ее тоже называли матерью.

Ночью мать вставала и укрывала их бурками, как, бывало, в детстве укрывала своего сына, а они сбрасывали с себя бурки, — им снилось, что они скачут.

* * *

Раскройте окна и двери, люди русские! Настежь ворота! Проветрим города, где был немец!

Да восстанут из пепла дома!

Да зажжется свет!

Мы идем жить!

Тихвин.

Январь 1942 г.

НА БЕРЕГУ ДНЕПРА

Днепр катил синие воды за окнами хаты. Когда был ветер и брызги достигали окон, маленькому Грицьку казалось, что и хата плывет. И он выбегал поглядеть — далеко ли уплыли. А Днепр вливался в степь, как в море. А над степью небо с белыми облаками. Дикие лебеди плыли в облаках, как на белых подушках. И вечная бескрайная жизнь обнимала сердце мальчика.

Украина, край родной!

Вокруг хаты, как золотая стража, стояли подсолнечники и смотрели прямо в лицо солнцу, и по утрам будто с них лился в хату солнечный свет.

Прискакали немцы, окинули взглядом подсолнечники. Но не захотели подсолнечники поклониться немцу, они кланялись только солнцу. Немцы посекали саблями подсолнечники, и покатались их золотые головы. Сразу в хате стало сумно, темно.

Веселой толпой вошли немцы в хату и, оглядывая ее, стали смеяться над полатями и печью, занимавшей пол-избы, где варилась пища для всего семейства, и над дедом, который свесил бороду с печи, даже подергали за бороду: «Бояр, Бояр!», и над чугунами, и над ухватом, и над корытом, и над птицами, вышитыми на полотенцах (но все-таки полотенце сорвали и спрятали в сумку).

В красном углу на вышитой цветами скатерти лежал большой круглый хлеб. Он лежал на цветах, как символ хлебной Украины. Немец воткнул кривой свой нож, облил ломоть ромом и сожрал.

— Зер гут, — сказал он.

— Гут, — повторили немцы, которые

не ели еще хлеба в роме, но видели, как его ест офицер.

Все в хате перерыли немцы, перекололи. Одни ходики стучали, напоминая мальчику о прошлой жизни. Но и к ним подошел немец, расхохотался над русскими часами, с размаху ударил и разбил. И мальчику показалось, что остановилось сердце хаты. А немец вытащил цепочку и сказал, который час на немецких часах.

В саду на деревьях сидели хохочущие немцы и трясли ветви, аж деревья стонали. Все немцы шлялись по селу пьяные, с золотыми яблоками в зубах.

Пригнали немцы во двор свиней и быков, как на бойню, ходят в крови, точно мясники. Уставились в ряд под окнами черными машинами, будто гробами. Завели мотоциклетки, день и ночь жужжат. Не село — осиное гнездо!

Ночью Грицько стоял на круче, под самыми звездами, и считал, сколько звезд на Украине. И вдруг видит — из реки выплывают серебряные в свете ме-

сяца кони. Когда первый всадник выплыл и конь, цокая, стал подниматься на скалистый берег, Грицьку показалось — это отец его. И он кинулся с кручи:

— Тато! Немцы!

— Ек! — крикнул сзади немец и выстрелил.

И словно горячий нож прошел через сердце Грицько. Завертелся свет колесом, и то вербы, раскинувшие ветви, стояли среди зеленых и синих звезд, то звезды пылали, как глаза в земле.

* * *

Проснулся он ночью от воя в трубе. Была уже зима и выюга. Ледяные птицы сидели на окнах. Они прилетают с метелью и улетят с красным солнцем.

Дом детства на Украине! Вокруг васильки, золотысячники — и цветы проникали в его сны, и все ему казалось, что и хата расцветает, даже печь распускала зеленые ветви, даже веник в углу, и

тот расцветал. И вся хата была как сад. А огненные птицы слетали с полотенец и носились под самым потолком, освещая сад. И легко дышалось, и он просыпался такой веселый, чистый, здоровый, как будто и в самом деле спал в саду.

Грицько оглянулся. Все исчезло. Темная хата с пустыми разбитыми окнами задышала на него холодным ртом.

Посохли васильки и золототысячники. Поникли вербы с потолка, будто плачут.

А посредине темной хаты котел кипит. Котел кипит, немцы сидят. Разложили тряпье и рыскают, ловко ловяг, как птиц на лету, и считают:

— Ейн... цвай... драй...

И хвастаются друг перед другом, у кого больше.

А котел кипит. Котел кипит, немцы хохочут. Тащат из котла горячую картошку, обжигаются, на языке волдыри. А один запрокинул голову, глотает длинную макаронину, тянет ее руками, и кажется, нет ей конца, будто она одна

уложена была в горшке. Все бросили жрать, держат кости в руках и подзадаривают, а немец давится и глотает. Хохот и свист. И показалось вдруг Грицьку, что это черти с болота собрались на шабаш.

Грицько как поднимется, да как закричит:

— Эй, вы, черти рогатые, подавитесь вы костью, захлебнитесь водою!

Закаркали немцы со всей хаты, кричат:

— Ты, ты!

Стоит над ним немец, рыжий и толстый, и видит Грицько только уходящие вверх пуговицы. Задышал он над ним, будто на голову вылили бочку вина — закачалось все на свете: и немец, и крики его.

— Пиф-паф! — показывает немец на ружье. — Бом! Бом!

А мальчик смотрит на него, как на сумасшедшего. В селе был Савка сумасшедший. Он тоже кричал: «Пиф-паф! Бом, бом!»

Трясет его немец рыжей рукой, и Грицько кровью харкает и кричит. Немцы уши позатыкали и закаркали изо всех углов.

Тогда тот, который глотал макарони-ну, сам длинный, как макаронина, спо-койно встал, взял рогач, посадил на него Грицько и двинул в печь. Уже ви-дит Грицько огненные языки, закружи-лись в глазах хата и печь, когда услы-шал — страшно закричала мать. И сразу немцы напали на нее сзади, схватили за монисто. Рассыпались, зазвенели по хате монеты, которые собирала всю жизнь.

Вступился за нее дед. Стали деда та-скать за бороду и смеялись:

— Ты ее вырастил, чтобы было за что таскать.

А когда бабка запричитала и стала себя бить в грудь, немцы собрались во-круг нее, как на представление.

В это время кто-то схватил Грицько за ноги и с размаху ударил головой об угол печи. И снова Грицько все поза-

был, будто провалился в глубокий колодец. Проснулся, а над ним дед трясет бородой.

— Спи, спи, Грицько. Просли страшное время.

Ветер стучал в окошко костлявыми пальцами.

Вдруг немцы ввалились из метели, с торбами на плечах, в рваных арха-луках, бараньих шапках, кто с дамской горжеткой на шее, кто в еврейском лапсердаке, подпоясанные, как извозчики, свистят, чешутся, кружатся. Крики, как на ярмарке.

— Русс! Русс, вон! — толкают деда к порогу.

Дед сам врыл столбы, на которых держится хата, сам покрыл ее, сам порог положил, крещеной водой окропил, а теперь чужестранец, бог весть из какой земли, в какой берлоге родился, сопатый и вшивый, выгоняет его через порог.

Тащат деда к дверям, изломали о хребет его кочергу. Но не выйдет дед

из своей хаты, слезами политой. Не выйдет.

— Убивай!

Дым. Не разглядел за дымом Грицько, как убили деда. Услышал только стон и такой жалобный, тонкий, как будто не дед старый, а ребенок закричал. И когда дым развеялся, — дым всегда развеется, — увидел, как два рыжих немца подтягивают деда к притолоке.

Стали рыться в мешках, звякают, бренчат, у одного даже в мешке будильник заиграл. Пovyнимали подсвечники, утюги, тащат краденое, штопанное. Из-за губной гармоники поспорили, вцепились друг в друга.

Под окном зарычала машина, и все выскочили, заколотив дверь хаты.

Прибежал к окну Савка сумасшедший и закричал:

— Пиф-паф! Бом, бом!

Грицько взглянул в окошко. Будто огненные петухи перелетали с хаты на хату и плясали над ними. И вдруг огненный клюв стукнул в окно, и вся

хата залилась огнем. И на секунду в свете огня он увидел рожу немецкую, метавшую горячие бутылки.

Ночью на Днестре окровавленный мальчик кричал из огня:

— Тато! Слышишь ли, тато?!

— Слышу, — скачет отец на коне впереди эскадрона своего. — Слышу, сынок! Уже ветер доносит твой голос и запах Днестра.

Март 1942 г.

ЛЕДЯНАЯ МОГИЛА

Было это на Украине, под городом Уманью.

Танк с белыми драконами на башнях мчался по дороге, драконы раскрывали пасти и, казалось, хотели проглотить белевшее вдали село.

Ворвавшись в село и подминая вишневый садок, танк въехал прямо в крайнюю хату и выехал из другой стены, неся на себе висевшую под потолком люльку.

Люди все кинулись в щели по огородам, и танк, гремя, прошелся по щелям, лязгая гусеницами над головами, туда и назад, так несколько раз.

Закричала женщина в окопе. Казалось, это сама земля кричит. Открылся люк, и показалась немецкая голова с длинной трубкой в зубах и биноклем на шее.

Он сидел в танке, точно в карете, ездил по улице села туда и сюда, подъезжал к окнам, как на свидание, кричал: «Русс, дурак!», пил молоко, забытое на окне хозяйкой дома, и, въезжая в сады, закусывал золотыми яблоками прямо с деревьев.

Кто-то выглянул из чердака, он прострочил пулеметом. Скакала телка в страшном испуге, он погнался за ней и танком задавил ее. Гуси шли с пруда и гоготали, он направил на них свой танк, и гуси взлетели на башню, как белый гусиный десант, а он, высунувшись из люка, хохотал.

Когда стихли все крики и все село сидело в земле, ожидая, что будет, открылись железные двери, и он вышел в железной каске, в башмаках на железном ходу, весь в железе.

На пыльной улице остались следы со- рока восьми немецких шипов.

Со всей деревни понатаסקали ламп. Он обставил себя ими, как на свадьбе, а когда принесли поросенка, немецкие вилочки и ножик сами выскочили из сумки и стали резать его.

Потом он велел притащить никелиро- ванную кровать с шариками. Без шариков он и уснуть не мог. И, поглядев в зеркало, каким он стал, — поправился ли от поросенка, — захрапел.

Немецкий храп стоял над всем селом. И тогда я еще подумал: «Запомнят рус- ские люди этот храп!»

Долго катался он в своем тан- ке, хвастался, что неуязвим в этом же- лезном доме. Но под Можайском снаряд влетел прямо в танк, и будто буря раз- бросала его экипаж по снегу.

Один он остался в живых. Сшибли с него каску. А под нею у него были белые чепчики. Один чепец, потом еще чепец и еще чепец, и был он в этих

чепцах, как волк в сказке о Красной шапочке.

Но ему было все холодно. Обвязал он голову мохнатым полотенцем, потом еще одним полотенцем, а поверх надел каску.

Идет, идет по лесу немец с лямками, в ботах с пряжками, тянет волокушу — пуховик и одеяло — краденое ложе.

Из-за каждого дерева, кажется ему, следят за ним глаза. Петляет немец по кустам, оврагами, лощинами, где пониже да потише, петляет и вертится, заблудился в трех соснах, нырнул в снег и снова появился со своей волокушей.

В поле чистое выходит, будто в белое море. Дойти бы до горизонта.

Но за горизонтом новый горизонт.

Оставил немец волокушу и пошел. Один. Идет тяжело, будто тянет бечеву, будто земля пристает и не хочет отпустить. Тяжело ходить по земле, которую не удалось завоевать.

Снял он с ремня фляжку, опрокинул

в глотку. Одна капля. Посмотрел на фляжку и выбросил.

А помнишь, как пил ром и хохотал? Вытаскивал фляжку и все запивал ромом, ромом запивал. Но выпит весь немецкий ром!

Поглядел он в сумку. Пустая сумка. И вот уже плоские немецкие вилочки и ножик лежат на снегу, как мертвые зубы немца.

Взглянул на трубку. Толстая немецкая трубка в медной оковке! Сколько дымила она в русской избе, пускала дым в лица старух и детей, а он хохотал, когда они плакали от дыма. Трубка эта потухла. И она полетела в снег. Легче итти.

Всю дорогу он кашлял, чесался, сморкался, свистел носом, засыпал на ходу, и вдруг ему стало так холодно, что и чесаться перестал, очевидно, и вши замерзли.

Снежная степь. И на все четыре стороны метель. И он уже не знает — на восток он идет или на запад. И есть ли он вообще этот запад, существует ли?

Или только придумали для компаса? Немецкий компас толстый, как глобус... Думал, поведет его во все четыре стороны света, а теперь не может найти дорогу на запад.

Идет немец по чистому русскому полю. Железная каска вся оледенела и давит голову, железные башмаки стали ледяными, трудно ноги поднять, и весь он выглядит точно сосулька. Думал ли он, что будет сосулькой, когда с голым пузом сидел у русского очага и чесался и во всем доме было самое важное — голое немецкое пузо у огня?

Снял он бинокль и глядит. Тяжелый и длинный немецкий бинокль, рассчитанный на то, чтобы видеть в него весь земной шар, высматривал избушку на курьих ножках. Не нужен ему сейчас земной шар с его полюсами.

А ветер воет, ветер воет в уши. Немец прислушивается, и кажется ему — это кричат все задушенные, убитые, зарезанные им.

Бежит немец, тонет в снегах и кричит

по-немецки. И прислушивается—не услышит ли немецкой речи? И он не слышит, — уши его отморожены.

Нет! Далеко до Германии, далеко завезли тебя генералы. Сами уехали в машинах-вездеходах, на мягких подушках.

Темно. Ночь пришла. Вынул немец круглый электрический фонарик. Немецкий фонарик, которым освещал русские пороги, русские лица стариков и женщин, огненный глаз, который видел перед смертью столько русских людей, и он потух.

Идет немец по полю. Сыплет снег, сыплет снег, все на свете засыпает снег. Белая равнина, и над ней луна. И он один под луной. Он смотрит в небо на звезды. Нет его звезды в русском небе.

Зимние ночи длинные. Зимние ночи длинные и страшны.

Метет метелица, кружит и вертит немца, и несется он в белом море под лунным светом, как щепка после кораблекрушения. И бьют его кусты по лицу,

по груди. Колочные кусты разрывают платье его, раздевают догола.

Остались у немца еще часы, толстые немецкие часы. Они когда-то показывали час, когда он входил в Париж, на них посмотрел он, когда горела Варшава, и теперь в свете луны он взглянул на них. Часы остановились, будто показывали час его смерти.

А по всему белому полю расставили руки черные немецкие кресты с нахлобученными касками, точно приготовились куда-то идти.

Он оглянулся. В синем свете луны кресты шли за ним, размахивая руками.

И немец закричал...

Так я и знал! Когда стои стоял в русском городе Чернигове и женщина, только что сошедшая с ума, бежала по улицам и кричала: «Верните мои сны, верните мои сны!», понял я: пощады не будет! Услышу я этой зимой в русских снегах крик сошедшего с ума немца.

Кружится по степи немец. Кружится и кричит по-немецки. А метелица метет, заворачивает его в белый саван.

Утром шли мимо бойцы. Выходило солнце. Немец лежал в снегу, как ледяная кукла. Бойцы приставили его к дереву, и он стоял у русской березы, как судьба оккупантов.

Волхов.

Февраль 1942 г.

СОДЕРЖАНИЕ

На нашей улице!	3
1918!	10
Зеленая шинель	17
Чужеземец	56
Русский дом	70
На берегу Днепра	80
Ледяная могила	90

Редактор *Е. Колтунова*

А50233

Подписана к печати 17 апреля 1942 г.

Авторских листов 2,22

Печатных листов 3^{1/8}

Колич. печ. знаков в листе 40627

Заказ 823. Тираж 20 000 экз.

Цена 75 коп.

Тип. „Красное знамя“
Москва, Суцневская, 21